

# Глава XLIX

Жизнь в тюрьме смертельно скучна, если у сидящего в ней человека нет связи с волей. До прибытия Кейт наше существование в Джефферсоне ежесекундно подтверждало эту истину, и шумиха, которую благодаря письмам своей жены поднял Фрэнк О'Хара, принесла удивительные результаты. Теперь, когда мы шли с обеда или из библиотеки, нас встречали целые толпы сантехников, плотников и электриков — в нашем крыле устанавливали душевые, белили стены и собирались красить камеры. Вскоре Кейт предложили освободить ее от работы в мастерской. «Неужели это тоже благодаря помощи с воли? — спросила я ее. — Мои друзья делают всё, чтобы освободить меня от швейной машинки, но я кручу её до сих пор». «Просто ты погрязла в своей политике и никогда не пересекалась с мистером Пейнтером, — засмеялась Кейт. — А вот мы с ним некоторым образом коллеги». «Ты имеешь в виду, вы знакомы?» — поинтересовалась я. «Совершенно верно, — хихикнула Кейт. — Теперь ты понимаешь, почему мистер Пейнтер соглашается идти на уступки?» Тем не менее, покидать мастерскую она отказалась: ведь это лишило бы ее возможности критиковать имеющиеся там и подлежащие исправлению недостатки.

Тем временем стало известно, что в тюрьму едет новая проверка. Обычно проверяющие не внушают заключенным доверия, однако этот человек был исключением, поскольку представлял *Survey*, научно-популярный журнал либерального толка. Уинтроп Лэйн уже опубликовал потрясающий репортаж о забастовке политзаключенных в левенвортских штрафных казармах, и нас поразило то, с каким сочувствием и пониманием он описывал своих героев. Поэтому его приезда ожидали с любопытством и воодушевлением.

То, что во время встречи с мистером Лэйном мы оставались с ним наедине, стало для меня сюрпризом: обычно свидания омрачались присутствием главной надзирательницы, и было приятно осознавать, что наша беседа проходила без посторонних. Мистер Лэйн уже успел осмотреть жилые камеры и штрафной изолятор в мужском крыле, и мы поговорили с ним о тюрьме в целом. Я не стала предлагать ему посетить мастерскую, будучи уверенной, что это само собой разумеется, однако, к моему удивлению, мистер Лэйн так и не поинтересовался тем, где и в каких условиях трудятся женщины. Что ж, теперь его репортаж о нашей тюрьме априори был однобоким: ведь его автор не захотел увидеть всех наших тягот и лишений.

В тюрьме Миссури я встретила собственное пятидесятилетие. Найдется ли более подходящее место для юбилея пламенной бунтарки? Пятьдесят лет... Я же чувствовала себя так, будто за моей спиной пять веков — слишком уж много событий вместила моя жизнь. На свободе я едва замечала подкрадывающиеся именины — возможно, потому, что считала своим настоящим годом рождения 1889-й, когда двадцатилетней девчонкой я впервые попала в Нью-Йорк. Как и Саша, который в шутку указывал свой возраст за вычетом четырнадцати лет, проведенных в Западной тюрьме, я часто говорила, что мне нельзя ставить в вину мои первые двадцать лет — ведь тогда я не жила, а лишь существовала.

Однако годы, проведенные в заключении, а еще больше переживания за будущее мира, жестокие гонения на радикалов и лишения, которые приходилось сносить моей мятежной натуре, сильно меня состарили: зеркало лжет лишь тому, кто жаждет быть обманутым.

Пятьдесят лет, из которых тридцать проведены на самом пике жизни... Дали ли они всходы, принесли ли плоды? Или я, подобно Дон Кихоту, провела эти годы в сражениях с ветряными мельницами? Может быть, всё это нужно было лишь для того, чтобы заполнить пустоту в душе, занять беспокойную натуру каким-нибудь делом? Или на самом деле это было осознанным последствием приверженности идеалам? Такие мысли кружились в моей голове 27 июня 1919 года, пока я привычно вращала колесо своей швейной машинки.

Неделей ранее я в очередной раз заболела, и доктор велел мне остаться в камере. Почувствовав особенную слабость как раз в собственный день рождения, я решила не вставать, надеясь на то, что доктор Мак-Нирни поймет: мне нужен отдых. К моему удивлению, вошедшая надзирательница сказала, что доктор приказал мне идти в мастерскую. Я была уверена, что сам Мак-Нирни ничего об этом не знает, и всё это лишь происки главной надзирательницы, но слишком устала от постоянной борьбы с ней, а потому потащила на работу. В обед я узнала о новом наказании: мне не отдали присланные цветы, посылки и целую стопку писем, и к вечеру от сильной жары половина зелени завяла. Это было уже слишком: несчастные растения не сделали ничего плохого, а потому я сочла лишение их воды и воздуха подлой местью, и тут же решила оживить их, окунув в подсоленную воду. Несколько поникших бутонов вновь воспрянули; казалось, что они кланяются мне, и своими поклонами передают трогательные поздравления моей дорогой Стеллы и множества других доброжелателей, знакомых и незнакомых. Мой трубадур Леон Басс прислал мне красивую вьющуюся алую розу в горшке: никакие жизненные невзгоды не сумели заглушить в нем интерес к нашим взглядам и личную преданность мне. Леон был истинным рыцарем, словно явившимся из древности, чтобы служить, не помышляя о наградах. Его заботы о моем благополучии были чрезвычайно трогательны, а среди радикалов, отказывающих известным людям в праве на личную жизнь, переживания и чувства, это большая редкость.

Почти все имена, значившиеся под каждым из полусотни поздравлений, пришедших из Нью-Йорка, были хорошо мне знакомы, впрочем, как и те, которыми были подписаны почти три дюжины приветствий из Лос-Анджелеса. Кроме того, были еще и ящик апельсинов из собственного сада одного нашего калифорнийского товарища, и консервированные яблоки, которыми одарил меня давний соратник Батлер Дэвенпорт, режиссер-экспериментатор, выстроивший несколько небольших театров на своих угодьях в Коннектикуте и Нью-Йорке. Поздравления шли и с Востока, и с Запада, и в каждом меня благодарили за то, что я делала.

С течением времени теснее становились и родственные связи между членами нашей семьи: волна любви и нежности накрыла мою сестру Лину. После того, что ей довелось пройти, сердце любой другой женщины наверняка превратилось бы в камень, но Лина, напротив, стала мягче и терпимее. «Я не хочу сравнивать мою любовь к тебе с тем, как относится к тебе Елена, — однажды написала она, — но я люблю тебя уж точно не меньше». Эти слова прозвучали заслуженным упреком: мы с ней очень мало общались прежде. Со старушкой-

мамой в последнее время мы тоже очень сблизились; она то и дело присылала мне в подарок всякие милые безделушки, которые могли соорудить ее дрожащие руки, а письмо на идиш, которое она написала ко дню рождения самой своенравной из ее дочерей, прямо-таки лучилось любовью.

Мою радость омрачали лишь мысли о Елене. Ее дочь Минни специально приехала из Манилы, чтобы помочь матери пережить ее страшную потерю, однако сестра была полностью поглощена своим горем, и ничто не могло ее утешить. Так что Елена стала единственным человеком, позабывшим о моих именинах, хотя прежде этот день был для нее одним из самых счастливых в году. Впрочем, я всё прекрасно понимала и не обижалась на нее, тем более, что и так чувствовала себя очень богатой: меня окружали искренне привязанные ко мне люди, а это означало, что мои труды были не напрасны.

Через несколько месяцев, проведенных Кейт в тюрьме, ей позволили иметь пишущую машинку, и с тех пор мои корреспонденты не уставали петь ей хвалу. «Как славно, — писали они, — что теперь нам не нужно сидеть часами, разбирая каракули Эммы!» Так было и прежде: когда я по случаю купила старенький «Бликенсдёрфер», мои друзья бурно радовались избавлению от необходимости мучить себя попытками дешифровки моих писем. Увы, тогда их ликование оказалось преждевременным: всё, что я печатала, было таким же неудобочитаемым, как и мой почерк. Я честно пыталась выучиться машинописи, стоически снося адскую боль в шее — результат постоянного напряжения, — но мои друзья, эти бессердечные создания, не оценили моих стараний и даже предлагали мне обратиться к психоаналитику, чтобы он помог мне избавиться от расстройства меткости, проявляющегося в непопадании по нужным клавишам. Даже в лучших из отпечатанных мною текстов они неизменно находили ошибки и опiski, и жалобы прекратились, только когда моей «секретаршей» стала Кейт.

Она была скрупулезна во всем, особенно в том, что требовало монотонности и рутины; к тому же она могла разобраться в любом механизме, каким бы замысловатым ни было его устройство. Ее отец работал механиком, и Кейт выросла в его мастерской, с младых ногтей копаясь во внутренностях разных машин. Позднее она стала помощницей отца и чрезвычайно гордилась тем, что ее приняли в Союз машиностроителей; но что это членство могло дать ее друзьям? Так что Кейт вкалывала еще и за меня: помимо дневной нормы в мастерской и собственных писем, она взвалила на себя и мою корреспонденцию, а я бессовестно пользовалась ее добротой, беспощадно эксплуатируя свою подругу в качестве машинистки. Отобрав у меня «Матушку-Землю», федеральные власти лишили меня возможности обращаться к массам, и трибуной для меня стали письма, благо, что цензура изрядно натаскала меня в эзоповом языке.

Мы горячо спорили о преимуществах и недостатках Советской России с моим верным товарищем Яковом Марголисом. Я соглашалась с ним в части опасности, которой чревата для Революции диктатура пролетариата, но пыталась убедить его поверить людям, способствовавшим рождению Октября и защищавшим его завоевания от врагов со всего мира. Я настаивала на том, что, вне всяких сомнений, придет час, когда анархисты будут вынуждены публично выразить свое несогласие с позицией группы Ленина-Троцкого, но сейчас, когда Россия окружена врагами, как внешними, так и внутренними, этого делать

нельзя. Мой товарищ отвечал, что не собирается защищать интервентов, но уверен в том, что анархизму нужно держаться как можно дальше от любого сотрудничества с политической силой, которая всегда нам противостояла, и которая, как только ее адепты убедятся в том, что созрели для этого, непременно начнет давить нас и в России. Наши споры продолжались довольно долго и воодушевляли не меньше, чем беседы с Джейком с глазу на глаз.

Писала я и другие письма — например, с просьбой к нью-йоркским товарищам выступить в защиту Роберта Майнора, нашего соратника по многим кампаниям. Одна из газет опубликовала присланные им по телеграфу статьи о России, и это вызвало в радикальных кругах массу негодования. Несмотря на то, что отдельные упреки Боба в адрес большевиков была справедливы, в напечатанных материалах были целые абзацы, которые писал не он, и это было видно невооруженным глазом. Я настаивала на том, что подозревать в предательстве всякого, кто не полностью принимает проповедуемую Лениным, Троцким и Зиновьевым диктатуру — ребячество, что они тоже люди, как и все мы, и тоже могут ошибаться, и высказаться об этом вовсе не означает ставить Революции палки в колеса. Что же касается явно подтасованных отрывков, то здесь следует дожидаться возвращения в Америку самого Роберта, чтобы он всё объяснил.

Вернувшись, Майнор первым делом убедительно доказал: присланные им из Европы статьи были намеренно отредактированы в Нью-Йорке таким образом, чтобы навредить России и опорочить самого Боба среди радикалов. Он также хотел повидаться со мной и Сашей сразу же после нашего освобождения и представить нам полный отчет о положении дел в России.

Статья в *Liberator* («Освободитель»), подписанная неким «Х», тоже была полна злобных нападок на российских анархистов. Макс Истман заверил Стеллу, что он опубликует мое опровержение, и я посвятила несколько воскресений анализу обвинений, выдвинутых в адрес моих русских товарищей, который в итоге вылился в масштабную статью. Я писала в ней, что автор не представил изложенным им фактам ни единого доказательства, а стало быть, это всего лишь его умозаключения; что он демонстрирует вопиющее невежество, не владеет информацией и даже не имеет мужества подписаться собственным именем. Я потребовала, чтобы он назвал своё настоящее имя, дабы я могла вступить с ним в дискуссию. В своем письме Макс восторженно отзывался об этом материале и уверял меня, что вскоре он будет напечатан, но не сдержал своего обещания, и мое опровержение так и не было опубликовано.

Впрочем, это было неудивительно: Истман и прежде демонстрировал специфическое понимание свободы слова и печати. Его лирическая натура не препятствовала тому, чтобы говорил он или его сторонники, но отказывала в праве на высказывание своей точки зрения анархистам, и этой старой доброй марксистской традиции Макс Истман следовал во всём.

Нечестность в отношениях с оппонентом есть фактическое проявление слабости, и, откровенно говоря, Макс не был ни сильным, ни храбрым. Это доказывали и причудливые зигзаги красноречия во время судебного процесса по его делу, и внезапно снизошедшее на него озарение, пролившееся бурным потоком славословий в адрес политики «величайшего моряка из Белого дома». Ну, да что с того? Лучше быть первым в галльской деревушке, чем

последним в Риме.

А вот внезапный отъезд Екатерины Брешко-Брешковской, так и оставившей мое воззвание без ответа, меня огорчил — как и то, что она абсолютно не протестовала против преступлений Дядюшки Сэма, совершаемых им якобы во имя высоких целей. Мисс Элис Стоун Блэквелл спросила у нее, почему она обошла молчанием столь явную несправедливость, на что профессиональная революционерка отвечала: если она будет критиковать Америку, то лишится возможности помочь обездоленным детям России, а ведь ради этого она и приехала в Соединенные Штаты.

Многочисленные жалобы Кейт на несправедливое отношение к федеральным заключенным вынудили, наконец, власти провести официальную проверку и допросить нас. Наши нормы выработки в мастерской были такими же, как и у заключенных штата, и наказывали нас в случае их невыполнения так же, как и их, однако таких, как у них, льгот и привилегий у нас не было. Например, повышение до класса А давало федеральным узникам всего лишь право на дополнительное, третье письмо в неделю, тогда как заключенные штата могли рассчитывать на уменьшение срока — до пяти месяцев за каждый проведенный в заключении год — и последующее досрочное освобождение. Следователь разговаривал с нами порознь, но после беседы с Кейт выбился из сил. «Вы с мисс Гольдман, — сказал он, — надо полагать, отлично выдрессировали этих девок: заключенные редко говорят правду, но те, кого я допрашивал, все до единой держались естественно, да и говорили одно и то же». Федеральные заключенные всей душой верили в то, что после этой проверки восторжествует справедливость, и мне не хотелось их разубеждать, хотя я знала, что мистер Лэйн не сумеет добиться публикации его статьи о нашей тюрьме даже в Survey.

После новой серии писем от Фрэнка Харриса наше с ним взаимное восхищение стало еще сильнее. Меня впечатлили его «Современные портреты», наиболее удачными из которых были работы, посвященные Карлайлу, Уистлеру, Дэвидсону, Миддлону и сэру Ричарду Бёртону, а среди новелл я выделила «Матадора Монтеса», «Стигмату» и «Волшебные очки». Я написала Фрэнку, что считаю эти вещи литературными шедеврами, хотя и знала, что он обижается, когда в разряд великих помещают не все его произведения, и боялась, что высказанные мной предпочтения рассорят нас. Однако Фрэнк Харрис посыпал мою грешную голову пеплом, назвав меня «критиком великим и непогрешимым»: «Ты скоро освободишься, — писал он в одном из своих посланий, — и это греет мне душу, но я все равно словно в аду варюсь. Почему они не депортируют меня? Я бы сэкономил деньги на проезд». Он попросил разрешения организовать в честь моего освобождения банкет, но совершенно позабыл о Саше, и я ответила, что ценю его предложение, но не смогу его принять, если в нем не найдется места для моего друга.

Нечто подобное, как мне сообщила Стелла, собиралась устроить и миссис Маргарет Сэнгер, и я очень этому удивилась. Друг познается в беде: когда из-за волнений в Сан-Франциско Сашина судьба висела на волоске, миссис Сэнгер не проявила интереса и не предложила помощи. Она была достаточно мила, чтобы позволить внести свое имя в список членов комитета по обнародованию известий о Саше, но так тогда поступили все более-менее известные радикалы; в остальном же она предпочитала держаться на заднем плане, хотя всегда уверяла, что Саша ее близкий друг. Я не хотела обижать миссис Сэнгер, но от ее

предложения все-таки пришлось отказаться.

18 августа 1919 года истекли двадцать месяцев из присужденного нам с Сашей двухлетнего заключения, и, хотя мы, как анархисты, считались опасными, каждый из нас за примерное поведение получил право на уменьшение срока на четыре месяца. Поскольку мы провели в тюрьме намного дольше, чем большинство заключенных, то рассчитывали, что нас с почетом выпроводят на свободу, однако судья Джулиус Майер решил по-другому и вместо этого назначил нам штраф в двадцать тысяч долларов. Для уточнения моих финансовых возможностей в тюрьму направили специального уполномоченного Соединенных Штатов. Он довольно скептически отнесся к тому, что я считаю анархистскую деятельность скорее развлечением, чем доходным бизнесом, и стал еще более подозрительным, когда я попыталась объяснить ему, что бесцеремонно изгнанный из Германии кайзер не соизволил позаботиться о нашем благосостоянии. Уполномоченный, надув щеки, объявил, что «будет разбираться», а пока нам с Беркманом придется отсидеть еще по месяцу в зачет нашего штрафа. Два месяца за двадцать тысяч долларов! Когда бы еще мы с Сашей заработали такие деньги за столь короткий срок?

Всего тридцать дней! А потом — долой ненавистную мастерскую, контроль, слежку и прочие унижения тюрьмы, и снова я с головой смогу окунуться в жизнь и в работу, вернуться к Саше, к моей семье, к моим товарищам и друзьям! Эти мечты были вскоре беспощадно развеяны миграционными властями Соединенных Штатов: нас обоих ожидала ссылка на остров Эллис. Я гадала: где отныне уготовано нам бороться — в манившей издавна России или в Америке, с которой я успела сродниться? Но переменчивая судьба могла гарантировать лишь одно: наше с Сашей будущее станет именно таким, как мы себе его представляли.

Шли последние дни, близился конец нашего заключения, но я переживала лишь о тех, кого покидала. Малышке Элле, которая стала мне как дочь, оставалось еще полгода; по поводу Кейт я волновалась гораздо меньше — сомневаться в том, что ее вскоре помилуют, не приходилось; однако после этого у Эллы не осталось бы друзей, и я сокрушалась о том, что обрекаю ее на одиночество. А еще были бедняжка Эгги, осужденная на пожизненное заключение, и темнокожая поденщица Эдди, отбывающая десять лет, и другие несчастные, ставшие мне близкими и дорогими. Я написала об Эдди кое-кому из нью-йоркских товарищей, и некоторые согласились дать ей работу, как только она освободится; но их интересовало, знаю ли я, за что она сидит, и готова ли за нее поручиться? Мне всегда не хватало духу спрашивать подруг-заключенных, за что их осудили, и я ждала, пока они сами не признаются в этом, но Эдди мне все-таки пришлось сказать о том, что хотят знать мои друзья. «Ничего страшного, — ответила она. — Они, наверное, думают, что я здесь за кражу или наркотики; так скажи им, что я отбываю срок за убийство мужа, который мне изменил!» В своем ответе любопытным я написала, что у заключенных есть свой кодекс чести, которому они неуклонно следуют, чего не скажешь о многих из тех, кто находится на свободе. Лишь одна Элис Стоун Блэквелл не задавала никаких вопросов, а сразу договорилась о работе для Эдди и даже пообещала оплатить ей билет. Но тут вмешалась главная надзирательница, которая напела Эдди в уши о том, что «друзья Эммы Гольдман — большевики и нехорошие женщины», и если комиссия узнает, что у нее такие покровители, она может лишиться шанса на досрочное освобождение. Поэтому Эдди умоляла меня ничего

больше для нее не делать.

Пока я находилась в заключении, смерть унесла еще двоих моих друзей — Горация Траубеля и Эдит ДеЛонг Джармут. Я не имела понятия о том, что они болели, и эта новость стала для меня новым потрясением. Гораций до самой своей кончины был тонким лириком и ценителем красоты; когда его провожали в последний путь, загорелась церковь, и красные языки пламени устремились в небеса, словно скорбя над его телом. Для такого чистого сердца и мятежной души, каким был Гораций Траубель, это было поистине символично.

Эдит ДеЛонг Джармут, своими иссиня черными волосами, миндалевидными глазами и беломраморной кожей напоминая японку, была подобна цветку лотоса на чуждой ему земле: на фоне своего кичливого, громоздкого, типично буржуазного дома в Сиэтле она казалась удивительно утонченной натурой. Позднее ее квартира на Риверсайд-драйв в Нью-Йорке стала местом сбора радикально настроенных интеллектуалов из числа богемы. Эдит притягивала их словно магнит, поскольку разделяла их взгляды; однако ее собственные увлечения основывались на одном лишь ее стремлении к экзотике. Как в жизни, так и в искусстве Эдит была мечтательницей, которой не доставало творческих сил, и ее больше любили за то, кем она была, чем за то, что она делала, а ее главными и единственными дарованиями были характер и естественная красота.

В субботу, 28 сентября 1919 года, я покинула тюрьму Миссури вместе со своей дорогой Стеллой, специально по этому случаю приехавшей из Нью-Йорка. Меня, пока еще формально заключенную, отвезли в здание федерального суда, где взяли письменное свидетельство о том, что у меня нет собственности и наличных денег. Чиновник оглядел меня с головы до ног. «Вы так роскошно одеты... Ваши утверждения о том, что вы бедны, по меньшей мере, забавны», — заметил он. «Да, вы правы: я мультимиллионер! — с гордостью отвечала я. — Но только по числу друзей!»

Затем был оплачен установленный Иммиграционным бюро залог в пятьдесят тысяч долларов, и я, наконец, оказалась на свободе.

---

Версия #1

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ создал 21 апреля 2025 17:53:47

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ обновил 21 апреля 2025 17:54:19